Вышел в свет очередной потрясающий своей монументальностью замысла и ювелирностью исполнения проект Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» и Отдела рукописей Российской государственной библиотеки – факсимильное издание чеховского «Острова Сахалина» с оптико-электронной реконструкцией рукописи и комментариями. Сборный труд учёных, техников, типографов, художников и писателей, затеянный, организованный и, как всегда, успешно завершённый неутомимым подвижником книжного искусства, историком и пропагандистом русской культуры, президентом Фонда Аркадием Григорьевичем Елфимовым. Счастлив участием в этом грандиозном проекте – комментированием тома «Письма из Сибири», удовлетворён внесением своей лепты в чехововеденье. В ходе работы над заданной темой, верю, мне удалось сделать несколько мотивационных реконструкций самого загадочного поступка великого писателя – поездки на каторжную окраину Российской Империи. Так же надеюсь, что нашёл достаточно доводов для примирения жителей замечательного города Томска с Антоном Павловичем. Приглашаю знатоков и поклонников творчества Чехова обсудить писательское прочтение его походных записок:

Василий ДВОРЦОВ

ЧЕХОВ. МОТИВАЦИИ СИБИРИ

Время и расстояние дарят нам силу и – право! – объективного взгляда на самих себя, суждения о себе. Именно право – масштабного и беспристрастного виденья-суждения по-новому. Однако, чем длиннее расстояние и дольше время, тем суждение ... непредсказуемее. Неожиданней. Ведь это суждение прошло через память.

Нам привычно представлять память некой служанкой, которой мы даём задание: «принеси», «достань», «придвинь или припрядь». Но, на самом-то деле, всё совершенно не так, и наша память живёт своей волей, часто, увы, с нашими желаниями не совпадающей. Более того, она изменяет нас! Без нашего на то согласия. Мы вольны отправиться в любую точку мира, преодолевая пространство, а вот останавливать, замедлять или ускорять время – не в наших силах. А память делает это легко. Она замедляет, ускоряет и приближает прошлое и... теряет время, точнее – стирает его содержимое, выбрасывает из него всё, что ненужно: то, что неэмоционально, повторяемо рутинно, идейно вторично.

Нам привычно думать о необратимости времени, при этом не осознавая, что точно так же никому не дано возвращаться и в пространстве. Хотя все слышали в школе: нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Так вернувшийся из путешествия всегда оказывается «другим», не тем, кто выходил за порог – он помнит всё некогда оставленное по-другому, иначе! Однако, если время и расстояния управляемы памятью, то и сам человек не менее подчинён ей.

Но, если память настолько самоуправна и сама решает, что нам «принести» или «припрятать», как же с объективностью?! Что тогда вообще «объективность»?.. А ведь должно же быть нечто, не подвластное изменениям. Это «нечто» – факт, документ, который противостоит самоуправству памяти.

По словарю: документ – «материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде. В узком смысле – облечённый в письменную форму носитель

информации, удостоверяющий наличие фактов определённого значения». И поэтому трудно переоценить работу научного коллектива Отдела рукописей Российской Государственной библиотеки, проведённую под руководством заведующего отделом, доктора исторических наук В.Ф. Молчанова, заместителя заведующего, кандидата исторических наук Е.Э. Вишневской и стараниями научных сотрудников Я.Ю. Калниньша, И.Н. Рассоловой, Н.С. Рогозиной. Осуществлённая ими реконструкция чернового варианта текста рукописи «Остров Сахалин» с применением новейших современных оптико-электронных систем, позволяет теперь увидеть – в прямом смысле слова! – процесс работы Антона Павловича Чехова над текстом, авторскую логику преобразования рукописного черновика в тиражное издание; видеть и понимать изменения, которые произошли с самим автором, его преобразование, произошедшее в ходе работы над этим произведением. Сугубо «техническая», казалось бы, работа открыла совершенно новые горизонты для исследователей мировоззрения писателя.

1890 год. Ветреным полднем 3 мая (21 апреля по старому стилю) Антон Павлович Чехов отправлялся в Сибирь. На перроне Ярославского вокзала толпились родные, близкие, знакомые. Было много улыбок, пожеланий, напутствий. И кто из провожающих мог предположить, что отъезд их сына, брата, друга изменит его настолько, что впоследствии у литературоведов сложится формула: «на Сахалин поехал Антоша Чехонте, а вернулся Антон Павлович Чехов». Что могло произойти с ним за лето-осень, всего за каких-то восемь месяцев?

Действительно, внешне Чехов не изменится. Он вернётся всё таким же вежливым, легко ответно кивающим встречным, прячущим мысли за чуть близоруким прищуром. Он сразу же возвратится к врачебной практике, продолжит печататься у Суворина, хотя застыдится авторства некоторых своих миниатюр, а от иных даже заотнекивается, притом, что они неизменно одобрялись критиками и приносили такие нужные родне гонорары.

Всё продолжится. Словно ничего не приключилось. Словно бы молодой и модный, узнаваемый читающей публикой по газетным фото беллетрист и драматург не преодолел на бричке почти пять тысяч вёрст Сибирского тракта, не прошёл на пароходах Байкал, Амур, три моря и два океана. Даже книгу о заявленной цели своего оригинального путешествия, о каторжном острове Сахалин, Чехов окончательно отделает и выпустит только через пять лет...

А ведь современники-то ждали новых обличительных фактов и тем, описания социальных типов, криминальных историй! Жаждали аж за три месяца до тех проводов! 26 января 1890 г. газета «Новости дня» давала анонс: «А.П. Чехов предпринимает путешествие по Сибири с целью изучения быта каторжников. Приём совершенно новый у нас... Это первый из русских писателей, который едет в Сибирь и обратно». И вот, на тебе, – молчок, никаких социальных обличений, никаких призывов к состраданию и, тем более, политическим протестам.

Внешне в служебной жизни врача и творчестве писателя Чехова, действительно, ничего не переменялось. Ну, перебрался с Садовой-Кудринской на Малую Дмитровку. Так остались вокруг те же люди, продолжились те же заботы. Те же труды, по тому же распорядку. И почему тогда «на Сахалин поехал Антоша Чехонте, а вернулся Антон Павлович Чехов»? Ответ на этот вопрос возможен только в сцепке с ответами на вопросы более ранние: а зачем и почему он туда поехал и именно тогда?

Зачем и почему, покровительствуемый самими Григоровичем и Сувориным, отмеченный благосклонностью Императорской академии, желанный для любого издательства литератор (и врач, прекрасно понимающий, что провоцирует свои достаточно серьёзные хронические болезни), решился на столь рискованный со всех сторон поступок – «путешествие по отчаянным дорогам, в распутицу, на лодках между льдинами или пешком по колёно в ледяной воде, под дождём и снегом»? Зачем, если этот его почти

что подвиг, вроде как и не отразился в творчестве? Ни новых, сугубо сибирских историй в повестях, ни конкретно-каторжных типов в пьесах?

Ровно за год до отъезда Антона Павловича в Сибирь, семья Чеховых похоронила тридцатидвухлетнего Николая, очень талантливого и беспутно-неприкаянного художника, буквально сожжённого скоротечной чахоткой. Антон любил брата, годами опекал, мучаясь двойным страданием за погибающего в пьянстве близкого человека и за губимый им божий дар. Слишком наглядный урок: после смерти художника остаются жить только его произведения. Очень скоро никого, кроме узкого круга биографов, не будут интересовать подробности его быта, благородство характера или дурные привычки, главное, вернее, единственное, чем запомнится, что продолжит существование автора – плоды его творчества. Остальное уйдёт в прах, в забвение.

Общее место: если ты неталантлив – учись, работай и становись ремесленником. Ремесленник – это тот, кто как все. Если же ты талантлив – учись, работай и – становись мастером. Мастер – это тот, кто лучше всех. Выскажем предположение: когда молодого автора бульварных сатирических изданий вдруг накрыло сладкой и обжигающей волной признания, тяжесть доверия литературных мэтров – Григоровича, Суворина, Плещеева, Билибина – не могла не испугать Антона Павловича возможностью это доверие не оправдать.

В 1886 году в журнале «Осколки» Чехов опубликовал задиристую «Литературную табель о рангах»:

«Если всех живых русских литераторов, соответственно их талантам и заслугам, произвести в чины, то:

Действительные тайные советники (вакансия).

Тайные советники: Лев Толстой, Гончаров.

Действительные статские советники: Салтыков-Щедрин, Григорович.

Статские советники: Островский, Лесков, Полонский.

Коллежские советники: Майков, Суворин, Гаршин, Буренин, Сергей Максимов, Глеб Успенский, Катков, Пыпин, Плещеев.

Надворные советники: Короленко, Скабичевский, Аверкиев, Боборыкин, Горбунов, гр. Салиас, Данилевский, Муравлин, Василевский, Надсон, Н. Михайловский.

Коллежские асессоры: Минаев, Мордовцев, Авсеенко, Незлобин, А. Михайлов, Пальмин, Трефолов, Петр Вейнберг, Салов.

Титулярные советники: Альбов, Баранцевич, Михневич, Златовратский, Шпажинский, Сергей Атава, Чуйко, Мещерский, Иванов-Классик, Вас. Немирович-Данченко.

Коллежские секретари: Фруг, Апухтин, Вс. Соловьев, В. Крылов, Юрьев, Голенищев-Кутузов, Эртель, К. Случевский.

Губернские секретари: Нотович, Максим Белинский, Невежин, Каразин, Венгеров, Нефедов.

Коллежские регистраторы: Минский, Трофимов, Ф. Берг, Мясницкий, Линева, Засодимский, Бажин.

Не имеющий чина: Окрейц».

Выше всех – объективно, без умерших уже Тургенева и Достоевского, гении Толстой и Гончаров. Далее довольно субъективно. Где увидел двадцатилетний Чехов себя после писем Григоровича и бесед с Сувориным? Положим, если старика Суворина он сразу определял себе неровней, Лескова заявлял учителем, то – он где-то, никак не ниже статского советника. Хотя, может, и в чин с учителем... Тут разговор не о том, что ему возжелалось славы «советников», нет... Антон Павлович слишком глубокий, душевно тонкий и, не смотря на смешливость первых публикаций, чрезвычайно серьёзно относившийся к жизни человек. Понятно, что соревновательность тут могла иметь место

только в отношении совершенства исполнения писательского дела. А для Чехова всегда всё было врачбно-ответственно: взялся – делай лучше всех.

Для того чтобы в русской литературе претендовать на генеральский чин одних только рассказов в «Стрекозе» и «Будильнике», да пьес-одноактовок, вроде «Дура, или Капитан в отставке», было неприлично мало. Генералу в русской литературе полагался роман, эпическая поэма или трагедийная трилогия. Даже опубликованные в «Северном вестнике» «Степь», затем «Скучная история», горячо принятые как читающей публикой, так и собратями по перу, дела не меняли. Более того – все теперь требовали от него дальнейшего роста.

И вот с осени 1887 по начало 1889 г. Чехов попытался написать нечто «в 1500 строк». И не смог. В письме к тому же Суворину от 7 января честно и горько: «Я рад, что 2–3 года тому назад я не слушался Григоровича и не писал романа! <...> Кроме изобилия материала и таланта, нужно ещё кое-что, не менее важное. Нужна возмужалость – это раз; во-вторых, необходимо чувство личной свободы, а это чувство стало разгораться во мне только недавно».

К тому времени Чехов уже стал лауреатом Пушкинской полу-премии, правда, с колкой формулировкой академика Быкова: «Рассказы г. Чехова, хотя и не вполне удовлетворяют требованиям высшей художественной критики, представляют, однако же, выдающееся явление в нашей современной беллетристической литературе»... Странно, Антону Павловичу потребовалось потратить почти два года жизни, чтобы осознать: для создания эпического произведения «нужна возмужалость».

«Возмужалость» по толковому словарю – «взрослость», «развитость», «обдуманность», «опытность». Взрослость прозаику нужна, кто ж поспорит? Только вот чувство «личной свободы» здесь причём? Что, вообще, это такое – «личная свобода» литератора? Дерзость на грани общепринятых этики и эстетики или даже за гранью их? Или же это свобода от «диктата среды»? Ввёл же Аполлон Григорьев такой термин в литературную жизнь, придавленную дидактическими «идеалами» либерал-демократии. Ведь в том же письме: «напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течёт уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...». (А.С. Суворину, 7 января 1889 г.)

И ещё: «В своей сахалинской работе я явлю себя таким сукиным сыном, что Вы только руками разведёте. Я уж много украл из чужих книг мыслей и знаний, которые выдам за свои» (А.С. Суворину, около 20 февраля 1890 г.).

Зачем мы столь пристрастно ревизуем мотивации поездки писателя на самую дальнюю каторгу Империи? Вроде давно написано в школьных учебниках: на Сахалине он хотел собственными глазами «увидеть, что происходит дальше с человеком, которого засудили "как собаку" и выбросили за борт человеческого общежития». И уточнение: «образ Пришибеева стал символом реакционных сил того времени, стремящихся задушить все живое. Всем своим творчеством Чехов воспитывал в читателе чувство ответственности перед народом».

Только тут же вспоминается замечание Тома Стоппарда, знаменитого английского драматурга и переводчика пьес Чехова: «Существует такой особый тип любителей Чехова. Думаю, эти люди сильно бы удивились, если бы прочли его письма. В них он другой человек – менее закрытый». И слова самого «менее закрытого» автора: «Сдал в печать свой "Сахалин". Рекомендую Вашему вниманию. То, что Вы когда-то читали у меня, забудьте, ибо то фальшиво. Я долго писал и долго чувствовал, что иду не по той дороге, пока наконец не уловил фальши. Фальшь была именно в том, что я как будто кого-то хочу своим "Сахалином" научить и вместе с тем что-то скрываю и сдерживаю себя. Но как только я стал изображать, каким чудачком я чувствовал себя на Сахалине и какие там

свиньи, то мне стало легко и работа моя закипела, хотя и вышла немножко юмористической». (А.С. Суворину, 28 июля 1893 г.).

Потому-то нам и стоит разобраться с тем, что в реальности, а не по советскому учебнику, потянуло и вытолкнуло некрепкого здоровьем Чехова в тяжёлое путешествие. Или, точнее, в экспедицию.

Только правильное понимание идеи или идей, с которыми ищущий «взросления» и «внутренней свободы» молодой писатель решился воочию увидеть то, о чём говорило или шептало «просвещённое общество»: «Из книг, которые я прочёл и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч вёрст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно...». Такой вот обличительный пафос после прочтения более полусотен книг о Сибири, об её истории, о природе и каторге – от гончаровского «Фрегат "Паллада"» и повести «Сахалинец» Короленко до курсовых лекций брата Михаила по уголовному праву: «Всё наше внимание к преступнику сосредоточено на нём только до момента произнесения над ним приговора; а как сошлют его на каторгу, так о нём все и позабудут. А что делается на каторге! Воображаю!..». И громобойный призыв к действию: «...На Руси страшная бедность по части фактов и страшное богатство всякого рода рассуждений – в чём я теперь сильно убеждаюсь, усердно прочитывая свою сахалинскую литературу». Громовой пафос от пылкого воображения, ведь «... чувство личной свободы, а это чувство стало разгораться во мне только недавно». Подбросил в это пламя поленце и критик Вукол Лавров, обвинивший писателей Ясинского и Чехова в беспринципности. Антон Павлович впервые вспылал публично: «Если допустить, что под беспринципностью Вы разумеете то печальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатающийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя деятельность бесследно прошла, например, для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы и проч., то в этом отношении "Русская мысль" должна по справедливости считать меня своим товарищем, но не обвинять, так как она до сих пор сделала в сказанном направлении не больше меня – и в этом виноваты не мы с Вами».

Самопознание – скрытая, зачастую интимно таимая под «пользой обществу», но, на самом деле, истинная цель любого путешествия. Мы можем вообразить, какими глазами смотрел Чехов из окна поезда на разворачивающиеся перед ним зауральские просторы, на большие сёла и малые городки в предместьях Тюмени, на людей, поселившихся и живущих тут по собственной воле и по принуждению. И можем догадываться, как менялось зрение замерзающего от дождя со снегом в открытом разболтанном тарантасе Антона Павловича; как оно трансформировалось с каждым новым приключением, точнее – злостью – то на сплошь залитом весенними водами, то коптимом таёжными пожарами Великом Сибирском тракте; как слабела и угасала в нем «книжная» гражданская пафосность. Только с учётом этих перемен во внутренних установках Чехова многое в его письмах и дневниковых записях становится понятным. Ведь мок и мёрз под равномерное чавканье копыт и бречание колокольчика не учёный-регистратор, а творческая личность, которая не могла не рефлексировать. Хотя дипломированный доктор медицины со «смит-вессоном» под офицерским кожаным пальто неплохо имитировал учёного-натуралиста и этнографа-социолога, но говорить об объективности его наблюдений и оценок в записях если и можно, то с обязательной поправкой на постоянные изменения в самом оценщике.

Если быть внимательным, то не так уж и трудно разглядеть этапы той чеховской экспедиции в себя: в письмах из Сибири ярко прослеживаются эмоциональные оценочные изменения – Чехов до Томска и Чехов после Томска... Но об этом позже, пока же разберёмся с мотивациями, причинами и поводами.

Итак, почему Сахалин, почему по Сибирскому тракту и, прежде всего, откуда столь великолепная идея придания частному путешествию не только видимость, но реальную значимость научной экспедиции?

Вспомним «табель о рангах» и рассмотрим её уже без шуток, как продуманную лестницу таланта и профессионализма, лестницу, возводящую в классики. С общепризнанной донныне двойной вершиной современной Чехову русской литературы – с Толстым и Гончаровым. Чтобы дотянуться до этих гигантов, «кроме избытка материала и таланта, нужно ещё кое-что, не менее важное». Что? – опыт подвига. Для врача это возведение его профессионального долга в служение, для писателя возгонка его гражданского голоса в религиозную значимость: «Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не зрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно. Прославленные шестидесятые годы не сделали ничего для больных и заключённых, нарушив таким образом самую главную заповедь христианской цивилизации.» (А.С. Суворину, 9 марта 1890 г.).

Поэтому перепись каторжан и ссыльных Сахалина – не просто повод для преодоления цензуры и режимных ограничений в изучении их быта, для Чехова это идейный и действенный отклик, прямое продолжение эстафеты от Льва Толстого, от участия великого моралиста в знаменитой переписи нищих и обездоленных Москвы 1882 г. Как мог русский врач и русский писатель не откликнуться на призыв всероссийски признанного моралиста, автора не только «Войны и мира», «Анны Карениной» и «Воскресения», но и «Исповеди», и «В чём моя вера»:

«Давайте мы все, переписываемые, постараемся воспользоваться тем единственным случаем в 10 лет немножко пообчиститься; давайте не противодействовать, а помогать переписи, и помогать ей именно в том смысле, чтобы она не имела один жестокий характер обследования безнадежного больного, а имела характер лечения и выздоровления... Почему не надеяться, что будет отчасти сделано или начато то настоящее дело, которое делается уже не деньгами, а работой, что будут спасены ослабевшие пьяницы, непопавшие воры, проститутки, для которых возможен возврат? Пусть не исправится всё зло, но будет сознание его и борьба с ним не полицейскими мерами, а внутренними – братским общением людей, видящих зло, с людьми, не видящими его потому, что они находятся в нем.

Почему не надеяться, что с обществом, с человечеством не будет то же, что бывает с больным организмом, когда вдруг наступает момент выздоровления? Организм болен; это значит, что клеточки перестают производить свою таинственную работу: одни умирают, другие поражаются, третьи остаются безразличными, работают для себя. Но вдруг наступает момент, когда каждая живая клеточка начинает самостоятельную жизненную работу: она вытесняет мёртвые, запирает живой преградой заражённые, сообщает жизнь отживавшим, и тело воскресает и живёт полной жизнью.

Отчего же не думать и не надеяться, что клеточки нашего общества оживут и оживят организм? Мы не знаем, в чьей власти жизнь клеточки, но мы знаем, что наша жизнь в нашей власти. Мы можем проявить свет, который есть в нас, или загасить его.

Приди один человек в сумерки к Ляпинскому ночлежному дому, когда 1000 человек раздетых и голодных ждут на морозе впуска в дом, и постарайся этот один человек помочь им, и у него сердце обольётся кровью, и он с отчаянием и злобой на людей убежит оттуда; а придите на эту тысячу человек ещё тысяча человек с желанием помочь, и дело окажется лёгким и радостным. Пускай механики придумывают машину, как приподнять тяжесть, давящую нас, — это хорошее дело, но пока они не выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнём народом – не поднимем ли? Дружней, братцы, разом!»

«Будем записывать, считать, но не будем забывать, что если нам встретится человек раздетый и голодный, то помочь ему важнее всех возможных исследований,

открытий всех возможных наук; что если был бы вопрос о том, заняться ли старухой, которая второй день не ела, или погубить всю работу переписи, то пропадай вся перепись, только бы накормить старуху!» (Л.Н. Толстой «О переписи в Москве», 1882 г.)

Не могло сознание Чехова пройти-проскользнуть мимо такого призыва. Двадцатидвухлетний безымянный автор сатирических мелочёвок в бульварных газетёнках и журнальчиках несомненно принял в себя толстовское гражданское благородство: «Я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать так, чтобы бедных не было в Москве».

О великом чеховском таланте сострадательности Горький свидетельствовал ещё до личного их знакомства, заметив в автобиографическом очерке 1889 г.: «После "Припадка" я считаю Чехова писателем, который в совершенстве обладает "талантом человеческим, тонким, великолепным чутьём к боли"».

С толстовского воззвания прошло шесть лет, Чехов уже сам приобрёл некую литературную известность, так что тут явно включились амбиции восходящей звезды. Если моралист-граф разом забыл и о науке, и о благотворительности, разразившись нравоучительными литературными сентенциями, после первых же, ужаснувших его контактов с «падшими» (граф пафосно выбрал один из самых неблагополучных участков Москвы – Проточный переулочек с его уголовной группировкой «Ржаная крепость»), то уж писатель-врач просто обязан был довести «дело» до конца. Более того, его, Чехова, «дело» должно было свершиться не в Москве, а в самом что ни на есть дальнем и гиблом конце Империи. Оно должно было быть никак не меньше графского – только каторжный Сахалин. Ибо только там «дело» могло стать совершенно конкретным, деятельным «братским общением людей, видящих зло, с людьми, не видящими его потому, что они находятся в нём».

Идея постепенно становилась планом. Отпало первоначальное намерение плыть до Сахалина врачом на одном из трёх пароходов Добровольного флота, подрядившихся перевозить ссыльных и каторжных из Одессы на Дальний Восток. Однако тут Чехову предоставлялся и второй вариант подвига: второй лидер «литературной таблицы о рангах», тоже «тайный советник» Иван Александрович Гончаров, хоть и обошёл почти весь мир в офицерской каюте «Паллады», саму-то Россию повидал, проехав от Аяна до Петербурга посуху. С ветерком на саночках. И здесь опять амбиции: а вот взять и проехать Сибирский тракт, прочувствовать на себе великий кандалный путь, пережить опасности вероятных грабежей разбойников и возможных нападений лютых хищников – чтобы реализовать шанс стать первым. В литературе уж точно, ведь: «А. П. Чехов предпринимает путешествие по Сибири с целью изучения быта каторжников. Приём совершенно новый у нас... Это первый из русских писателей, который едет в Сибирь и обратно». («Новости дня», 26 января 1890 г.). Пожалуй, близко к истине: «Я уж много украл из чужих книг мыслей и знаний...».

Европейская часть России интереса для писателя Чехова не представляла: её ландшафты, её насельников и дороги за девятнадцатый век вдоль и поперёк описали бары-охотники и нувелисты-разночинцы, очеркисты славянофилы и западники, вольно бродящие просветители-народовольцы и служащие вице-губернаторы. Другое дело – Зауралье. Там наверняка таилось столько чудесного, ещё никому неведомого, потрясающе величественного. Чехов чаял этого неопишуемого величества, вед даже сочинил некогда про Сибирь: «такой же Бог и Царь, что и тут, так же там говорят по-православному, как и я с тобой. Только там приволья больше и люди богаче живут. Все там лучше. А реки там широкие, быстрые, берега крутые – страсть! По берегу всё леса дремучие. Деревья такие, что взглянешь на маковку – и голова кружится...» (А.П. Чехов, рассказ «Мечты», 1886 г.). Поэтому по европейской России и через Урал Антон Павлович двигался скороходно: из Москвы в Нижний – паровозом, до Перми – пароходом, оттуда в Тюмень – опять по рельсам.

Всё началось с Тюмени.

«Осьмая Государева дорога» – иначе Большой Сибирский тракт, он же Главный Сибирский почтовый тракт, Московский или Московско-Иркутский тракт, – изначально пролегла от Москвы – через Муром, Арзамас, Козьмодемьянск – до Казани, поднималась через Осу на Пермь и, перевалив сглаженные ледником Северо-Уральские хребты, спускалась на Кунгур, Тюмень, Тобольск, Тару, далее выворачивала опять на восток – в Каинск, Колывань и Томск. От Томска государева дорога двоилась на северную ветку – к Енисейску, Якутску и аж к Охотску, и южную – на Ачинск, Красноярск, Иркутск до Верхнеудинска, где от основного пути отклонялась ветка на Нерчинск, к пограничной с Китаем Кяхте. Протяжённость всего этого пути от Москвы до Пекина составляла, по одним подсчётам, 8332 версты, по другим – 8839 вёрст.

От Иоанна IV Васильевича до Петра I Алексеевича единого пути из Европы в Азию не было. Множество летних и зимних дорог, волоков и водных путей сезонными сменами маршрутов соединяли соседствующие через Урал губернии и княжества, хотя к 1730 г. в Сибири проживало уже около 200 тысяч переселенцев – примерно столько же, сколько абorigенов.

В 1725 г. Екатерина I Алексеевна направила в Китай посольство во главе с графом Саввой Рагузинским-Владиславичем. В результате двухлетних переговоров в 1727 г. были подписаны договоры: Буринский – об установлении границ, и Кяхтинский – о политических и торговых отношениях. Как граф Савва добирался до китайцев, неизвестно. Только три года спустя правительство озаботилось проектом обустройства сибирской дороги, а 16 марта 1733 г. Сенат Российской Империи принял указ о строительстве тракта, который соединил бы столицу с самыми дальними восточными окраинами России и Китаем.

Проектные работы столичных инженеров продолжались почти тридцать лет, и лишь к 1765 г. Сенат окончательно установил единые требования обустройства Сибирского тракта. Но к тому времени дорогу до Тюмени и Тобольска уже проложили тамошними возможностями: отбывая дорожную повинность со своими лошадьми, телегами и дорожными инструментами, местные крестьяне, промысловики и купцы строили Тракт шириной в 5 сажен (около 11 м) и окапывали канавами для стока воды. Теперь же полагалось на полосе шириной в 30 сажен (64 м) под проезжую часть с канавами отсыпать 10 сажен (22 м) полотна, ещё по 10 сажен с обеих сторон зачищать для скота, который осенью гнали к городам и рабочим посёлкам на убой. Эти участки тракта называли скотопрогонными.

Соединявший редкие сибирские города, тракт обязательно прокладывался через деревни и села так, чтобы «проходящие и проезжающие команды обогрев имели». Хотя главной задачей дороги заявлялась возможность скорой переброски военных подразделений к дальним границам Империи, но купечество и переселенцы двинули по нему первыми. За ними – ссыльные и каторжные. На пути споро расцветала торговля и мелкий промысел: десятки постоянных дворов, фуражных складов, бань, тележных, санных и сбруйных мастерских, кузниц, слесарных и механических мастерских, занятых обслуживанием постоянно растущего грузопотока.

Изначально Сибирский тракт пролегал через Всесибирский губернский город Тобольск. Но постепенно направление дороги сползло к югу: так в 1759 г. тракт сократили на 150 вёрст – через сёла Голопутово и Абатское на города Тюкалинск и Омск, обойдя затяжной Аевский волок через болота. А с 1838 г., сократившись ещё на 228 вёрст, Сибирский тракт уже обходил и сам Тобольск: от Тюмени, через Ялуторовск, сразу на Ишим и далее на Омск.

Императрица Екатерина II повелела российские магистральные дороги обсадить берёзами, которые защищали бы их от снежных заносов, не позволяя сбиваться с пути в зимнюю непогоду. В 1817 г. указом Александра I были установлены новые правила обустройства Сибирского тракта. Расширялись просеки, выкапывались канавы. Но, главное, предписывалось при почтовых станциях с интервалами в 20–30 вёрст создать небольшие тюрьмы для остановки и ночлега арестантов – «этапы». В девятнадцатом веке Сибирь и Дальний Восток заселялись принуждением: на 20 тысяч ежегодных добровольных переселенцев приходилось 18 тысяч арестантов.

Окончательный вид Сибирский тракт приобрёл в середине XIX в. Обустроились поселения, бурно развивалось скотоводство, земледелие, лесной промысел, мелкое ремесленничество, торговля. И, конечно же, извоз. Ответно за возможность постоянного заработка притрактовые крестьяне платили налог на содержание дороги, обрабатывали трудовые повинности на расчистке и ремонте, и обязаны были иметь запасы для «кормления» проезжающих. Правда, кормления не бесплатного.

Однако к 1880-90 гг. Тракт уже не справлялся с возложенной на него нагрузкой. К тому же по всему миру гужевого транспорт стремительно уступал «железной коннице».

Экономическая столица Западной Сибири Тюмень сегодня не представима в отрыве от слов «нефть» и «газ». Бетонные многоэтажки, сложные развязки шоссе, парки с фонтанами, театры, стеклянные витрины, реклама, автомобильные пробки.... А когда-то эти таёжно-болотные места жидко-редко заселяли вогулы и остяки, уральские угры, предки современных хантов и манси. В начале XIII в., при последнем великом переселении народов, монгольским толчком из степей Средней Азии сюда вынесло татар.

С 1187 г. нижняя Обь входила в «волости подданные» Великого Новгорода, а с 1502 г. Великие князья Московские стали добавлять к своим титулам «Обдорские и Югорские». Так что поход Ермака 1582 г. против отказавшегося платить дань Кучума нужно рассматривать не как «покорение Сибири», а как спецоперацию по пресечению сепаратизма. Тогда-то и был заложен острог-крепостца Тюмень – первый русский город в Сибири: «Льта 7093 (1586 г.) посланы воеводы съ Москвы, Василий Борисович Сукинъ, да Иванъ Мясной, да письменной голова Чюлковъ съ тремя сты человек, поставиша градъ Тюмень, 1 юля, въ 29 день». На высоком берегу Туры, ограниченном глубокими оврагами, плотно вкопали заострённые брёвна. Затем с южной стороны выкопали ров и насыпали земляной вал, за которым возвели церковь, жилые дома и амбары.

Необходимое отступление: Россия в Сибирь заявлялась городками-крепостцами. Думается, что история Русской Азии сложилась бы совсем иначе, если б в первых волнах сибирских переселенцев крестьян оказалось больше, чем слуг государевых и казаков, разведчиков-рудознатцев и купцов, инженеров и священства. Факт: на новых территориях с новыми своими народами Россия утверждалась не насилием колонизаторов-переселенцев, захватывающих понравившиеся уголья, оттесняющих аборигенов в резервации, с массовыми убийствами несогласных, а силой правопорядка и неведомого до того в сих местах знания. А ещё – носителями этой силы права-правды были личности яркие, волевые, предприимчивые и стойкие, увлекающие своей убеждённостью. Именно эти-то передовые, многогранные и цельные люди заложили на бескрайних просторах уникальную российскую культуру симбиотического типа, которая веками уже сводит в единое поле духовные, культурные, материальные и прочие интересы сотен разноязыких народов, обладающих собственным уникальным мировоззрением. Степняки и таёжники, горцы и кочевники тундр – опять же! – передовые, многогранные и цельные люди из татар и шорцев, эвенков и якутов, орочей и бурятов искали среди пришлых и находили союзников и сотрудников, собеседников и толкователей распаивающейся для них

Вселенной. Самых талантливых детей отдавали они новым учителям, чтобы дети пытливым умом и чистотой сердца впитывали знания и культуру России, вырастая живыми скрепами имперского взаимопонимания. Конечно же, всё через русский язык.

Крестьянствующие на «голые» земли Зауралья хлынули много позже. Пролётная меж болотными мерзлотами и лесистыми горами степная лента древнего Эранвежа – арийского, скифского, гуннского, тюркского, монгольского и славянского пути «из Карпат в Гоби», по следам древних колесниц и кибиток обновляемая Осударевым Трактом, а затем Трансибом, лишь в последние полтора столетия расцвела мозаикой пашен и огородов мелких хуторов и заимок.

По мере укрепления русского присутствия Тюмень из военной крепости становилась торговым и промышленным центром региона. К традиционным промыслам – рыба, пушнина – добавились скобяные, кожевенные, маслобойные и скорнячные производства. В 1836 г. здесь был заложен первый в Сибири пароход. Предполагалось дать ему название «Основатель», однако в последний момент для всего слова оказалось мало места. Поместилось только «О-С-Н-О-В-А». Первый рейс до Тобольска пароход совершил в 1843 г. В 1868 г. появился пивоваренный завод. Тюменское пиво отмечали даже на международных выставках. Кстати, и фруктовые напитки, изготовленные на местной минеральной воде, получали золотые медали в Брюсселе и Мадриде.

Кроме промышленности и торговли (особенно знаменита была Васильевская ярмарка), город к концу XIX в. активно развивал культуру и образование, содержал более десяти учебных заведений, в том числе Александровское реальное училище, которое закончил М. И. Пришвин, имелись женское и уездное училища, приходские школы. В 1869 г. открылась первая в Тобольской губернии частная типография Константина Высоцкого.

А в 1885 г. в Тюмень пришла железная дорога из Екатеринбурга. По ней 15 мая (3 по ст. ст.) и прибыл в Сибирь Чехов.

В Тюмени Антон Павлович остановился только на день, расположившись, скорее всего, в лучшей тогда гостинице с претензионным названием «Пале-Рояль». В самом ли «Пале-Рояле» или каком ином ресторане Чехов отведал колбасы, которую сравнил с собачьим хвостом, измазанным в дёгте, зато местный хлеб нашёл весьма вкусным. Впрочем, хлеб он нахваливал во всё своё путешествие: «К чаю мне подают блинов из пшеничной муки, пирогов с творогом и яйцами, оладий, сдобных калачей... Хлеб везде по Сибирскому тракту пекут вкуснейший; пекут его ежедневно и в большом количестве». Отправив с почтамта письмо городскому голове Таганрога, Чехов сделал, как ему показалось, все нужные для ближайшего будущего закупки, и отправился на перекладных туда, где... как некогда виделось в «Мечтах»: «Всё там лучше. А реки там широкие, быстрые, берега крутые – страсть! По берегу всё леса дремучие. Деревья такие, что взглянешь на маковку – и голова кружится...».

Предстоял конный путь на юго-восток, на Тару и Омск. Этот сокращённый тракт уже более века пролегал мимо Тобольска, хотя старая дорога продолжала интенсивно использоваться, в том числе и каторжными этапами с административной точкой в тобольском пересыльном остроге.

Кстати, в упоминаемой нами «литературной табели» не было умерших к тому времени Тургенева и Достоевского. Фёдор Михайлович Достоевский, автор «Мёртвого дома», проезжал этим же Сибирским трактом, только не вольно, а в плотном стеснении четырёх конвоиров...

Вообще, это большая загадка в чеховедении – отношение Антона Павловича к творчеству Фёдора Михайловича. И, наверное, что-то здесь могло проясниться, если бы Чехов как-то отозвался в письмах о Тобольском остроге.

Позволю высказать предположение, возможно, слишком смелое, но почему бы его не обсудить специалистам как некую писательскую интуицию: Чехов, травмированный в детстве религиозным фарисейством отца, не принимал жаркой, проповеднически-публичной веры в Бога Достоевского. Эта пылкая, до горячности, вера творца «Подростка», «Преступления и наказания», «Бесов», «Братьев Карамазовых» в преображение человека в православном христианстве, преображение Христом – эта горячность никак не налагалась на горький опыт чеховской семьи, когда молитва становилась наказанием за самую мелкую провинность, когда церковное пение для детей превращалось в пытку, и всё это под искренним, таким же горячным убеждением отца в богоугодности своей деспотии. Наученный с младенчества скрытности Чехов боялся декларируемой веры, потому что боялся походить на своего отца, для которого Бог проявлялся в этом мире только запретами и наказаниями за нарушение этих самых запретов. Именно в этом, по-видимому, кроются корни такой особой «чеховской» сумрачной тональности, которая чувствуется всеми.

Христос и христиане... Для Антона и его братьев через уроки пуританства своего деспота-отца, понуждавшего к вере насильем, казалась совершенно невозможной добровольность восторженной веры Алёши Карамазова, тем более восторженная же добровольность каторги его брата Дмитрия, их деспот-отец, живший открытым отрицанием христианства. А что такого особенного открыла проститутка Сонечка убийце Раскольникову, зачитав страницу Евангелия? Братья Чеховы каждый год по несколько раз читали и выслушивали эту историю о воскрешении Лазаря! И что? Для них-то мир при этом не переворачивался. Что уж говорить о сумасшедшем князьке Мышкине.

Для Антона и его братьев христианство и земно его воплощающая Церковь виделись давным-давно обесмысленной городьбой из устаревших табу и фарисейской внешней аскезы. Всё, что в «религии» оставалось привлекательного – эстетические радости вокала и живописи. И как же Достоевский, со своим-то опытом реального кандалного рабства, умудрялся обходить всю эту городьбу жестоких запретов, и призывать к любви там, где для Чеховых, на их личной практике, была только озлобленная гордыня? Как это – «Победишь себя, усмиришь себя – и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнёшь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймёшь наконец народ свой и святую правду его»? (Ф.М. Достоевский, «О Пушкине», «Дневник писателя», 1880 г.).

Ну, а с другой стороны, не мог же Достоевский лгать! Не мог, искренность его не подлежит ни малейшему сомнению. Значит, каторга дала Достоевскому нечто такое, что позволяло ему утверждать и проповедовать существование света за пределами чеховских сумерек, за пределами чеховского миро-зрения? И это тоже могло быть мотивацией поездки Чехова по каторжному пути.

Протоирей Сергей Булгаков в своей статье «Чехов как мыслитель», рассуждает уже о природе потаённости чеховской веры в этот свет за пределами его, Чехова, виденья: «...Это не была победная вера, которая видит в едва зарождающихся ростках грядущий расцвет и торжествующе приветствует его, это вера тоскующая, рвущаяся и беспокойная, но, однако, по-своему крепкая и незыблемая. Мы не имеем в чеховских произведениях прямого и положительного художественного обоснования этой веры, солнце правды только косыми лучами и отражённым светом освещает чеховский овраг, но вне этой веры невозможна и непонятна была бы вся деятельность Чехова, без неё погас бы источник света, освещающий всех гадов и нетопырей, копошащихся на дне оврага. <...> Он даёт только чувствовать солнце, и лишь изредка стыдливо и как бы невзначай, обычно от третьего лица, Чехов прямо говорит о нём – только в виде исключения, золотой луч несмело блеснёт и тотчас же погаснет на дне оврага». И далее – не вдруг – выводит: «В связи с этой стороной мировоззрения Чехова находится и необыкновенная чуткость его к поэзии религиозного чувства и вообще глубокое и тонкое понимание религиозной психологии, в особенности же простолюдинов. В этой области Чехов оставляет позади

себя даже Толстого, приближаясь к Достоевскому, не имеющему здесь себе равных». (С. Булгаков, «Чехов как мыслитель», 1910 г.)

Чехов в приближении к Достоевскому?.. «Веровать в Бога не трудно. В Него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте! Эта вера доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа». (А.П. Чехов, «Рассказ старшего садовника», 1892). Действительно, очень, очень близко: «Отсутствие Бога нельзя заменить любовью к человечеству, потому что человек тотчас спросит: для чего мне любить человечество?» (Ф.М. Достоевский, Записная тетрадь. XXIV, стр. 308).

Чехов в приближении к Достоевскому.... Наверное, многое, очень многое прояснилось бы, если б Чехов увидел и как-то письменно отозвался о Тобольском остроге. Ведь именно здесь, в Тобольске, получив от жён декабристов Муравьевой, Анненковой и Фонвизиной в подарок первоизданное на русском языке Евангелие, Достоевский затем все четыре года каторги погружался в осмысление единственно доступной ему Книги, с явными и тайными комментариями в виде подчёркивания мест, потрясших его, где карандашом, а где и ногтем. И далее уже никогда не расставался с этим Евангелием, буквально до смертного часа: «Эту книгу, с заклеенными в ней деньгами, подарили мне ещё в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время её уже десятилетиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата». (Ф.М. Достоевский, «Дневник писателя», 1873 г.).

Да, каторга дала Достоевскому то, что позволило ему утверждать и проповедовать существование света даже за самой затяжной и глухой тьмой – она дала ему возможность погружения в Евангелие.

Беда в том, что Тобольск «заклеймён страшной проклятостью» осторожного пересыльного пункта, через который проходили на каторгу или в ссылку многие известные российские деятели политики, культуры и литературы. Действительно, от славянского публициста Крижанича и протопопы Аввакума, в разные годы острог прошли Меньшиков, Радищев, Сумароков, Фонвизин... далее декабристы и петрашевцы... за ними Чернышевский, Короленко.... Особо активно эта тема эксплуатировалась идейными ленинцами в их мифологеме «Российская империя – тюрьма народов». Той кандално-кимвальной чередой заглушались имена Ремизова, Ершова и Менделеева, имена гениев-тоболян, которыми город прославлен навеки.

И очень старательно в XX в. затиралась религиозная значимость Тобольска для российской истории, его несравнимое духовное, равноапостольское служение русскому и вселенскому Православию.

О судьбоносной для Сибири и Русской Азии миссии Тобольской епархии, изначально окормлявшей народы от Урала до Камчатки, нельзя не помянуть особо. Великий сонм святых в земле Сибирской просиявших, наполненный ныне равноапостольными проповедниками, добродетельными угодниками и аскетами-исповедниками, неустрасимыми страстотерпцами и мучениками за Христа, начинался здесь. Православие несло в Сибирь просвещение, ведь благодаря миссионерам создавались азбуки и словари, спасшие затем множество языков от вымирания.

Уже в 1621 г. первый Тобольский архиепископ Киприан Старорусенин построил недалеко от первой Троицкой церкви просторный деревянный Софийский собор, в котором сразу началось ежедневное поминовение павших в боях казаков Ермака. В 1743 г. заработала Духовная семинария, в которой преподавались латынь, история, география, математика, красноречие для русских детей и детей из всех новокрещённых народов. При духовной школе был открыт один из первых в России драматический театр, а библиотека семинарии в своём собрании редких книг и рукописей самой разнообразной тематики не знала себе равных.

Согласно русским имперским идеалам, вошедшее за Урал православие не вступало в конфликт с исповедуемым местными татарами исламом. Но просвещение разноречиво-

разноплеменных уральских, сибирских и дальневосточных язычников, как и исправление нравов прибывавших на новые земли, ох, далеко не всегда праведных искателей воли, приключений и наживы, стали главными заботами и неотложными трудами для нескольких поколений архиереев и рядового священства. Служение миссионера всегда подвиг. Нужно было не только строить храмы и учреждать монастыри, но и изучать местные языки, устои, нравы и обычаи, собственным примером жертвенности привлекая к проповедуемой Истине. И успехи новых апостолов поразительны: шаманизм и тотемизм отступали, а новая вера не воспринималась аборигенами как наносная, «русская». Так что сегодня Собор святых, в земле Сибирской просиявших, по праву возглавляют первоприсланные Русской Церковью Тобольские митрополиты Иоанн и Павел, а за ними молитвенно поминаемые тобольские же крестители и просветители всей Сибири митрополиты Филофей и Антоний, архиепископы Нектарий и Варлаам, игумен Андрей.

Публицист конца XIX в. Фёдор Михайлович Уманец писал: «Вслед за военным занятием страны, должно идти занятие культурно-этнографическое. Русская соха и борона должны обязательно следовать за русскими знамёнами». Государство увеличивает свои территории оружием или политикой, но вбирает в себя новые края, вживляет, осваивает их просвещением. И Тобольск явился теми духовными воротами, которыми Сибирь вошла в Россию.

Думается, что Тобольск не случайно соединил в себе славу величия духовного, равноапостольского служения и «славу» тюремного пересыльного пункта. Вдумайтесь в слова князя Трубецкого: «Я убеждён, что если бы я не испытал жёсткой превратности судьбы и шёл бы без препятствий блестящим путём, мне предстоявшим, то со временем сделался бы недостойн милостей Божьих и утратил бы истинное достоинство человека. Как же я благословляю десницу Божию, проведшую меня по терновому пути...».

Вряд ли сочинитель-революционер Достоевский стал бы великим мировым писателем и русским религиозным философом, не получив так промыслительно – и своевременно! – «тобольское Евангелие», которое стало главной книгой в его жизни.

Западная Сибирь не оправдала ожиданий Чехова, описанных им в «Мечтах». Сирая, болотистая равнина, поросшая ельниками и тальниками, ничем не отличалась от Вологодчины или Приладожья. Пронизывающий ветер, разгоняясь от Ледовитого океана, мутил безбрежное, в тонких весенних облаках небо. Госкливая морось, скрип колёс да вой телеграфных проводов дополняли картину. А сибиряки?.. Знакомства с местными жителями порой казались московскому литератору просто кошмаром!

16 мая (4 мая по ст. ст.), в Ишиме: «Видно, что эти люди, пока плыли сюда на арестантских баржах, скованные попарно наручниками, и пока шли этапом по тракту, ночуя в избах, где их тело невыносимо жгли клопы, одеревенели до мозга костей; а теперь, болтаясь день и ночь в холодной воде и не видя ничего, кроме голых берегов, навсегда утратили всё тепло, какое имели, и осталось у них в жизни только одно: водка, девка, девка, водка... на этом свете они уже не люди, а звери...».

Вот вам и гуманист Антон Павлович! Ссылные, оказывается, не страдальцы, а «звери»! А где же толстовское: «будут спасены ослабевшие пьяницы, непопавшиеся воры, проститутки, для которых возможен возврат? Пусть не исправится всё зло, но будет сознание его и борьба с ним не полицейскими мерами, а внутренними — братским общением людей, видящих зло, с людьми, не видящими его потому, что они находятся в нем». Где же «давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнём народом — не поднимем ли? Дружней, братцы, разом!», где оно?

Ну, конечно, «Виноваты оказались ботфорты, узкие в задниках. Сладкий Миша, если у тебя будут дети, в чем я не сомневаюсь, то завещай им не гнаться за дешевизною. Дешевизна русского товара — это диплом на его негодность. По-моему, лучше босиком

ходить, чем в дешёвых сапогах. Представьте моё мучение! То и дело вылезаю из возка, сажусь на сырую землю и снимаю сапоги, чтобы дать отдохнуть пяткам. Как это удобно в мороз! Пришлось купить в Ишиме валенки... Так и ехал в валенках, пока они у меня не раскисли от сырости и грязи». (М. Чехову, 16 мая).

И это только начало пути. А далее в ночь с 17 на 18 мая (6 мая по ст. ст.) тарантас с московским путешественником, потрясённым тяготами и людской грубостью, выехал из Абатского, через Крутинку, Тюкалу, Саргатское добрался до Могильно-Посельского. Это были большие, обихоженные сёла, например, в конце XIX в. в Тюкале числилось более 700 жилых домов, имелись 2 церкви, и, стоило бы отметить писателю, действовали приходское и двухклассное училища. Но Чехову было не до местного образования: «Ругаются нестерпимо. Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всём, что ему свято, дорого и любо! Так умеют браниться только сибирские ямщики и перевозчики, а научились они этому, говорят, у арестантов».

19 мая (7 мая по ст. ст.) Чехов заночевал в крестьянской избе на берегу Иртыша. Здесь, слава Богу, было совсем другое дело, тут даже клопы не кусали: «Перевоз здесь держит артель из хозяев-крестьян; среди перевозчиков нет ни одного ссыльного, а всё свои. Народ добрый, ласковый».

Иртыш – первое сильное впечатление от сибирской природы. Яркий, полноводный, разгульно дикий в весеннем паводке. Сразу мысль: такой Ермаку и без кольчуги было не переплыть. Настроение после тёплой ночёвки у «ласковых» хозяев поднялось, опять захотелось романтики. Как там у Рылеева? –

«Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
И непрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком берегу Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой».

И почему Пушкин рылеевскую «Думу о Ермаке» обозвал дрянью? Ещё и уточнил: «совершенная дрянь». Наверное за дубраву, каковую на сем «диком берегу» и представить невозможно. Голые тальники и вётлы по глинистым хлябям. Но бури-то бывают!..

20 мая Чехова перевозят на лодке через раздутый паводком Иртыш, и он останавливается в селе Пустынное. Опять сирая, болотистая равнина, поросшая чёрными ельниками и седыми тальниками. С утра подмёрзшая, колдобистая, к обеду раскисшая дорога со всё углубляющимися колеями. Всё тот же пронизывающий ветер, всё то же низкое серое небо. Скрип и свист. Впереди Каинск.

Каинск, ныне Куйбышев, райцентр на границе Новосибирской и Омской области, в конце XIX в. был ярким примером развития капитализма в Российской Империи. Надо помнить, что в Сибири, с её практическим бездорожьем, редкой заселённостью при немалом аборигенном элементе, государственная администрация (военная, налоговая, земельная, судопроизводная, полицейская и др.) концентрировалась в губернских городах, уездные же городки и сёла самоуправлялись через земства. И вот интересный момент: созданные указом Александра II Освободителя в 1864 году Земские собрания и Земские управы, задумывались, по словам министра внутренних дел Ланского, чтобы «вознаградить дворян за потерю помещичьей власти», предоставив им «первенство в местной хозяйственной администрации», для чего и был утверждён для выборных высокий имущественный ценз. То есть, Земство открыто декларировалось как власть

богатых. Но в Сибири помещиков-то не было, и потому, пока в европейской части России дворянство успешно переходило в чиновничество, продлевая своё аристократическое правление, с 1870-х гг. в Сибири уже всю хозяйничали капиталисты. И не надо было ехать в Америку, чтобы узнать, что это такое.

В русской литературе того времени, пожалуй, только у Гончарова в «Обрыве» дан положительный, романтический даже образ нового для России человека – предпринимателя Ивана Тушина. Позже страстный дух заводчика в своих романах опишет Горький, хоть и с симпатией к трудовым подвигам, но далеко не романтично. Остальные писатели, даже из разночинцев, видели в грядущих хозяевах только неприятное, алчное, безнравственное.

Наверное, это алчно-безнравственное и увидел Антон Павлович в Каинске. Само название звучало злое. Острог «Каинск» был возведён в 1722 г. для защиты барабинских татар, вошедших в состав Татарского воеводства Сибирской губернии, от притеснений киргизов и джунгар. Он нёс в своём названии производное от татарского «каин» – «берёза» и никакого отношения к первому на земле убийце не имел, но что-то в этом звуковом совпадении всё же настораживало.

До учреждения земств всё в городке развивалось очень даже неплохо. Для почти пяти тысяч жителей Каинска к восьмидесятым годам XIX века на государственные средства были возведены две православные – каменная и деревянная – церкви и две синагоги (в Каинске обосновалась крупнейшая за Уралом еврейская община, почти тысяча человек), мужское уездное и приходское училища, женское училище 2-го разряда, богадельня, городская библиотека, военный лазарет, аптека и общественная баня. Трактовый город обслуживал этап тремя острогами. Кроме этого, доход местным жителям приносили дюжина небольших заводиков, семь кузниц, соляной и провиантский магазины.

С учреждения земств всё переменилось. Земства официально подчинялись надзору местного губернатора и губернскому представителю министерства внутренних дел. Но кто бы это подчинение в Сибири реализовывал? И пусть губернатору предписывалось неукоснительно следить за выполнением земством своих прямых обязанностей: обустройством школ, оборудованием больниц, строительством и ремонтом дорог, позднее – пропагандой агрономических знаний, созданием курсов «повышения квалификации» врачей, учителей, агрономов, статистиков, а также вспоможением развитию ремёсел, кустарного производств... В Каинске же сложилась абсолютная власть местного купечества....

Составляя немногим более трёх процентов жителей города, купцы заняли около 2/5 всех депутатских мест в городской думе. Остальные думцы тоже зависели от каинских капиталистов, как и чиновники городской управы. Под прикрытием думы управой совершались сделки, направленные на открытое ограбление трудового населения и умыкание государственных субсидий. Так, например, Каинск и его уездные поселения страдали от острого недостатка медицинской помощи. Но средства, взимаемые с населения в виде податей и налогов, в том числе и на содержание больниц, из года в год безнаказанно разворовывались. Каинский купец Венедикт Ерофеев в 1888 г. приговаривался Томским окружным судом к двум месяцам тюрьмы или залогу в 500 рублей за участие в сговоре виноторговцев с целью повышения цен на алкоголь. Но это в Томске, а тут своя каинская управа, игнорируя губернаторские предписания, упорно отказывалась ограничить число питейных заведений в городе. Кабаки и трактиры у тракта – явная смерть и разорение, но губернатор хоть ножкой стучи – управа не откликнется, потому как местные чиновники получали от водки немалые отступные.

Не этот ли самовластный капитализм мы увидим в «Вишневом саде»? Ермолай Алексеевич Лопухин – человек ничего и никого не боящийся. Такой тип в бывшей крепостной России был ещё вряд ли распространён, это не купец-самодур из пьес Островского, который смел только в своей замкнутой среде, никак не соприкасаясь с «брамами». У Чехова же новый герой – эдакий марксовский прагматик. Танцуйте

напоследок, балуйте «уходящие», а новый хозяин входит в ваш дом без фанфар и вёдер шампанского. Чехов утверждал: «роль Лопухина центральная. Если она не удастся, то, значит, и пьеса вся провалится. Лопухина надо играть не крикуну, не надо, чтобы он непременно был купец».

И опять сирая, гладкая до горизонтов равнина с голыми мокрыми березняками и осинниками. Всё ужаснее раскисающая к обеду дорога. Впереди Колывань.

Чаусский острог со своего основания в 1713 г. так ни разу и не увидел врага, так что за ненадобностью через пятьдесят лет оказался заброшен. Однако при образовании Сибирской губернии 22 июля 1822 г. «вновь учреждён город Колывань и назначен он из Чаусского острога». Новый город, как полагалось, получил свой герб: щит, поделённый пополам, где в верхней части поля изображена скачущая лошадь, а в нижней части – жёлтый сноп, рядом с которым лежит серп. Колыванское купечество, в отличие от каинского (то ли название сыграло какую-то роль – от литовского «кальве» – «кузница», то ли близость к Томску с его грозной полицией), взяв власть, поить и зорить никого не стало, более того, к концу века Колывань стала примером успешности местного предпринимательства, позволяя уезду жить без дотаций. Налоги платили четыре кирпичных завода, восемь кожевенных, восемь маслобойных, два мыловаренных, три свечно-сальных и три салотопных, и ещё полсотни мелких предприятий. Ещё удивительнее – местные купцы и заводчики, занимая высокие посты в городском управлении, часто брали на себя расходы по содержанию школ, училищ, лечебниц. Город наполнялся каменными зданиями, а храм Александра Невского мог бы украсить и губернскую столицу. Однако во время прокладки железной дороги мост через Обь построили возле конкурирующего Кривошеина-Новониколаевска.

По легенде купцы предлагали главному инженеру Транссибирской магистрали Гарину-Михайловскому «мешок золота» за то, чтобы трасса легла через Колывань. Такой вариант даже спрямлял магистраль вёрст примерно на 20, но имел ряд существенных недостатков. И, прежде всего, широко разливающуюся здесь Обь во время паводков.

Этот паводок и оценил Антон Павлович в полной мере, простояв весь день 12-го мая на пустом берегу: «Наказание с этим разливом! В Колывани мне не дают почтовых лошадей; говорят, что по берегу Оби затопило луга, нельзя ехать. Задержали даже почту и ждут насчёт её особого распоряжения.

Станционный писарь советует мне ехать на вольных в какой-то Вьюн, а оттуда в Красный Яр; из Красного Яра меня повезут верст 12 на лодке в Дубровино, и там уж мне дадут почтовых лошадей. Так и делаю: еду во Вьюн, потом в Красный Яр...».

И раздражённая запись разговора с местным купцом – Чехову позарез надо как-то переплыть разлившуюся до горизонтов Обь, а к нему пристают с философствованиями:

«– Человек работает, сыт, одет, – говорю я. – Что же ему ещё нужно?»

– Все-таки он должен понимать, для какой надобности он живёт. В России небось понимают!

– Нет, не понимают.

– Это никак невозможно, – говорит Пётр Петрович, подумав. – Человек не лошадь. Примерно, у нас по всей Сибири нет правды. Ежели и была какая, то уж давно замёрзла. Вот и должен человек эту правду искать».

В другое-то время и в другом настроении русский литератор ахнул бы и задохнулся счастьем от такой народной устремлённости к высшим смыслам, до слезы бы довёл себя и читателя возвеличиванием крестьянского духа, но... надо ехать на вольных в какой-то Вьюн, а оттуда в Красный Яр; из Красного Яра вёрст 12 на лодке в Дубровино, где только дадут почтовых лошадей... А ещё «Утром идёт снег и покрывает землю на полтора вершка, в полдень идёт дождь и смывает весь снег, а вечером, во время захода солнца, когда я стою на берегу и смотрю, как борется с течением подплывающая к нам лодка, идет и дождь и крупа...». И потому пристающий с вопросами о смысле жизни и правде

был, как представилось московскому беллетристу, отвратительно жирен, пискляв и фальшив.

После тяжёлой и путаной переправы на правый восточный берег настроение понемногу улучшается. Чехов даже замечает, что «В каждом селе — церковь, а иногда и две; есть и школы, тоже, кажется, во всех сёлах. Избы деревянные, часто двухэтажные, крыши тесовые. Около каждой избы на заборе или на берёзке стоит скворечня, и так низко, что до неё можно рукой достать. Скворцы здесь пользуются общею любовью, и их даже кошки не трогают».

Вот-вот, и кошки здесь хорошие. А уж люди – и чистоплотные, и стелют мягчайшие горы пуховиков, и вообще о такой сытной жизни московскому мужику только мечтать. От пуховиков и культура в народе на высоте: «От образа в углу тянутся по обе стороны лубочные картины; тут портрет государя, непременно в нескольких экземплярах, Георгий Победоносец, "Европейские государи", среди которых очутился почему-то и шах персидский, затем изображения святых с латинскими и немецкими подписями, поясной портрет Баттенберга, Скобелева, опять святые... На украшение стен идут и конфетные бумажки, и водочные ярлыки, и этикетки из-под папирос, и эта бедность совсем не вяжется с солидной постелью и крашеными полами. Но что делать? Спрос на искусство здесь большой, но Бог не даёт художников».

Так что – «Какие хорошие люди! Пока я пью чай и слушаю про Сашу, мои вещи лежат на дворе, в возке. На вопрос, не украдут ли их, мне отвечают с улыбкой:

– Кому же тут красть? У нас и ночью не крадут.

И в самом деле, по всему тракту не слышно, чтоб у проезжего что-нибудь украли. Нравы здесь в этом отношении чудесные, традиции хорошие. Я глубоко убеждён, что если бы я обронил в возке деньги, то нашедший их вольный ямщик возвратил бы мне их, не заглянув даже в бумажник».

Хороша Сибирь! Даже простые бабы «здесь толковы, чадолюбивы, сердобольны, трудолюбивы и свободнее, чем в Европе; мужья не бранят и не бьют их, потому что они так же высоки, и сильны, и умны, как их повелители; они, когда мужей нет дома, ямщикуют...».

Эх, кабы всё так и далее, но распутица, проклятая сибирская распутица! После услышанных на берегу раскатов грома потеплело, болота потекли, и Тракт остановился.

Так что Чехов едва-едва добрался до Томска к 28 мая (14 мая по ст. ст.).

20 января 1604 г. в Москву прибыл князь зуштинских татар Тоян с просьбой о принятии их под власть Русского царства и о возведении на реке Томи острога для защиты от енисейских кыргызов и калмыков. По рассмотрению прошения, Государь Борис Фёдорович Годунов уже 25 марта 1604 г. посылает казачьего голову Гаврилу Писемского из Сургута и стрелецкого голову Василия Тыркова из Тобольска с заданием основать город в татарской земле, завести вокруг него государеву пашню и привести в подданство российскому царю окрестные народы. Но первый острог пришлось через сорок лет переносить на стратегически более выгодную вершину Воскресенской горы, ведь Томск был реальной крепостью – в 1614, 1617, 1657 и 1698 гг. он героически отражал набеги кочевников.

В начале XVIII в., когда Царём-преобразователем из воеводств и княжеств были образованы восемь российских губерний, то под Тобольское правление очертили границы от Урала, с Вяткой, Пермью, Верхотурьем, Тюменью, и далее, далее – вглубь и ширь востока – с Томском, Красноярском, Иркутском, Илимском, Якутском... Лишь с 1804 г. Томск стал собственно губернским центром, и благодаря скрещению Тракта и Оби, бурно развивался до самой эпохи Транссиба, проложенного много южнее от Омска к Новониколаевску. Торговля, производство, культура, образование и своя наука! 29 июля

(11 августа) 1887 г. состоялось торжество освящения храма во имя иконы Казанской Божьей Матери Императорского Томского университета – первого ВУЗа в Русской Азии, выстраданного и даже «высиженного»! Потанин, Ядринцев, Колосов, Шапов, Наумов, Макушин – имена этих исследователей и просветителей, философов и общественных деятелей, много претерпевших ради своего университета, даже отведавших тюрьмы и ссылки за сепаратистское «областничество», золотом вписаны в историю Сибири. О каждом из перечисленных нам надо говорить с восхищением: омич Николай Михайлович Ядринцев (1842–1894) – публицист, писатель и общественный деятель, исследователь Сибири и Центральной Азии, первооткрыватель древнетюркских памятников на реке Орхон, столицы Чингисхана Каракорума и Орду-Балыка – столицы Уйгурского каганата в Монголии. «Сибирским областничеством» заболел ещё в Санкт-Петербургском университете. Автор громких статей в «Томских губернских ведомостях»: «Сибирь перед судом русской литературы», «Этнологические особенности сибирского населения». Ещё один из «отцов» азиатского ВУЗа и основатель первой Томской публичной библиотеки Пётр Иванович Макушин (1844–1926) – сын пермского причётника, закончил Пермскую семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1860-х годах на Алтае Макушин организовывал миссионерское училище для «туземных мальчиков из новокрещённых» (которое закончили священники-писатели: алтаец Михаил Чевалков и шорец Василий Вербицкий), а затем и школу для девочек. В Томск Макушин прибыл смотрителем духовного училища, но скоро оставил службу и в 1873 году открыл первый в Сибири книжный магазин. К концу века магазин становится крупнейшей отечественной книготорговой фирмой с отделениями в разных городах. В 1880-е годы Макушин основывает и издаёт первую частную «Сибирскую газету». По его инициативе в 1889 году в Томске положено начало Музею прикладных знаний, в 1912 году на средства Макушина построен «Дом науки», а в 1919 году он приступает к строительству «Дома искусств». Задумывал даже Сибирский литературный фонд, но планы обрушила Гражданская война.

Будучи торгово-промышленным центром, Томск далеко опережал прочие города Сибири. К концу столетия по рекам Западной Сибири ходило свыше 100 пароходов, большая часть которых принадлежала томским компаниям и купцам. В самом Томске насчитывалось 200 заводов и фабрик. Кроме традиционных кожевенных, салотопленных, свечных, кирпичных предприятий, в городе организуются гильзовое, мебельное, конфетное производства. К тому времени в Томске проживало свыше 25 тысяч человек, было построено 13 тысяч зданий, из них 6 тысяч жилых домов. В городе проводились электрическое освещение и телефонная сеть, запускались трамваи.

Почему же Антон Павлович, задержанный распутицей в Томске на неделю, ничего этого не отметил?! Почему не захотел видеть даже знаменитого университета со столь желанным ему медицинским факультетом («Так как там только один факультет – медицинский, то при осмотре не явлю себя профаном»), не заметил почти 60 гимназий, училищ, школ, три публичные библиотеки, театр, в котором поставили его пьесу, отделение Московского общества сельского хозяйства, городские общества садоводства, охоты, содействия физическому развитию детей, отдел Русского музыкального общества?..

Никакому другому городу от Чехова не досталось стольких язвительных эпитетов, стольких желчных и злых определений, как Томску. Писатель часто бывал несправедлив, и это касалось не только Русской Азии, даже Италии от него перепало: «Венеция и Флоренция ничего больше, как скучные города для человека даже умного», и «Рим похож в общем на Харьков, а Неаполь грязен». Но в отношениях, сложившихся тогда меж Томском и Чеховым, нужно разбираться. Одними сапогами дело не объяснишь...

Да, весна 1890 года в Западной Сибири случилась холодной. Вдобавок приключилось невиданное наводнение, усиленное затяжными дождями. Однако же город, поджатый половодьем, уныло зияющий голыми палисадниками и неочищенными после недавно стаявшего снега проулками и дворами, готовился к встрече знаменитого писателя,

с удивительной миссией проезжающего всю Россию, о которой протрубила газета «Сибирский вестник». К приезду автора была даже приурочена премьера спектакля-шутки в одном действии «Предложение». Но Чехов сказался больным и попытался укрыться в гостинице, отлежаться в одиночестве: «Тяжело ехать, очень тяжело, но становится ещё тяжелее, как подумаешь, что эта безобразная, рябая полоса земли, эта чёрная оспа, есть почти единственная жила, соединяющая Европу с Сибирью!». Так что все вынужденные контакты с местной интеллигенцией его приводили в тихую, но язвящую ярость.

Здесь всё было не так, как думалось по прочтению книг о Сибири. А главное – «не такими» были сибиряки. Совсем не рылеевские типы – гордые, с жадой подвигов: «К славе страстию дыша, / В стране суровой и угрюмой». Здесь «интеллигентные ссыльные – все эти бывшие офицеры, чиновники, нотариусы, бухгалтеры, представители золотой молодёжи... ведут жизнь замкнутую и скромную». А где дерзкие от широты замыслов, самовитые от избытка ума, страдающие в этой неволе за то, на что их толкнула «среда»? Где те, которых «мы сгноили в тюрьмах... сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч вёрст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей»? Где те, про которых «теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно...»?

Оказалось, вместо пружинной потенции бунта, эти «интеллигентные ссыльные» «во глубине сибирских руд» «ведут жизнь замкнутую и скромную». Но возникает встречный вопрос: в чём же к ним его претензия? Что они «терпят»? Да ещё и «скромно»... Да, может, «интеллигентные ссыльные» просто вот так живут?.. Своей собственной жизнью? Скромно и замкнуто. Да разве сами-то вы, Антон Павлович, не замкнуты? Не скромны ли?

Ещё один интересный момент: мнение о томской интеллигенции Чехов составляет опосредованно: «по отзывам местных обывателей, чиновников, ямщиков, извозчиков, с которыми мне приходилось говорить...». Именно по отзывам ямщиков и извозчиков в Томске «кроме Ноздрёвых, нередко встречаются среди интеллигентных "несчастных" люди глубоко испорченные, безнравственные, откровенно подлые, но эти почти все на счету, их знает всякий, и на них указывают пальцами. Громадное же большинство, повторяю, живёт скромно».

Хорошо, ноздрёвым нужна клетка, но разве схимник в своём затворе не свободен? А напротив – Каин в своём неотмщении?..

И ничем неоправданно, зло, совсем уж не по-чеховски мелко: «Женщина здесь так же скучна, как сибирская природа; она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поёт, не смеётся, не миловидна и, как выразился один старожил в разговоре со мной: "жестка на ощупь". Когда в Сибири со временем народятся свои собственные романисты и поэты, то в их романах и поэмах женщина не будет героинею; она не будет вдохновлять, возбуждать к высокой деятельности, спасать, идти "на край света"» (Михаилу Чехову, 16 мая). А всего тремя днями ранее сибирячки были «толковы, чадолюбивы, сердобольны, трудолюбивы и свободнее, чем в Европе; мужья не бранят и не бьют их, потому что они так же высоки, и сильны, и умны, как их повелители...» Всё как-то вдруг потемнело....

Никакими физическими страданиями такой резкой «слепоты» не объяснить.

Понятно, что Антон Павлович закрывал глаза, прятался от всего и всех, чтобы в желанном, необходимом одиночестве сосредоточиться на том, что в тот момент началось внутри него... очень болезненное.

Чуткость Чехова к чужому страданию, так поражающая всех, – первый Божеский дар, с которого и начинается настоящий художник, – не мог дать «сбоя» из-за тесных сапог и мокрых пимов. Разве мало Антон Павлович повидал грязи, луж и колдобин от Таганрога до Петербурга? Нет, здесь заболело не тело. Здесь скорчилась от боли его душа.

Нахлынувшая литературная слава и не написавшийся роман... Не сложившийся «роман» в личной жизни – в немалой степени из-за взятой на себя материальной

ответственности за всю бестолковую чеховскую семью... Собственные болезни и смерть брата, даже не смерть – гибель, практически самоубийство в протест пуританству отца... Это гордо таимое последние годы ощущение неблагополучия, неудовлетворенности на фоне жадного интереса публики к «московскому беллетристу», который теперь «предпринимает путешествие по Сибири с целью изучения быта каторжников»... Даже угрызение за то «печальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатающийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю», здесь оказалась по сути позой пошлой, потому что Чехов не полюбил тех, для кого он приехал сюда что-то «сделать»...

Вся сумбурная диалектика возможностей и невозможностей, желаний и нежеланий, то, от чего нельзя избавиться или забыть, из-за проклятой распутицы вдруг нагнало, схватило, накрыло... Побег? Да, да, побег! – тоже ведь сильная мотивация, особенно для Сибири!..

Невольная задержка в Томске совпала с психологическим кризом. Внешне ничем не выдаваемая истерика стала преследовать Антона Павловича в его путешествии во времени и пространстве. Здесь, уже не по капле, а вскрытием нарыва хлынуло из человека его «рабство». Сначала замутило, согнуло судорогой, а затем в нестерпимых резах исторглось с обильной желчью... Сколько же фальши, сколько надуманного, эгоистически подленького, с ленью ума и трусостью чувств, в пене зависти и самомнения, в чесотке похоти, суетной мелочности, ненужного, постыдно чуждого и чужого прячется в тайниках человеческого сердца!

Желчь, желчь: «Живётся им скучно... Квартыры в городах скверные, улицы грязные, в лавках всё дорого, не свежо и скудно, и многого, к чему привык европеец, не найдёшь ни за какие деньги. Местная интеллигенция, мыслящая и не мыслящая, от утра до ночи пьёт водку, пьёт неизящно, грубо и глупо, не зная меры и не пьянея... И от скуки пьёт с ним ссыльный, сначала морщится, потом привыкает и, в конце концов, конечно, спивается».

Желчь: «Томск скучнейший город. Если судить по тем пьяницам, с которыми я познакомился, и по тем вумным людям, которые приходили ко мне в номер на поклонение, то и люди здесь прескучнейшие. По крайней мере мне с ними так невесело, что я приказал человеку никого не принимать».

Что, разве ж это люди, обложив гостиницу, ломались в номер «молодого беллетриста»?! Нет, это были явно inferнальные сущности, явные нежити, мары и мороки, тени скукины. Но почему тогда они... так знакомы? Так узнаваемы?

Да потому, что здесь, в Томске, Чехова догнали и схватили, и, не выпуская теперь, захоронили с визгами и свистами его же червяковы и курятины, овсовы и хрюкины, глеб-гавриловичи и климушки, его хамелеоны и унтеры-пришибеевы, – все те, кого он некогда зло высмеивал, над кем скалозубил публично, выставя на всеобщий позор, унижал легко и беспощадно. И уже сам Антон Павлович, как гоголевский Хома, мучительно задыхался в сужающемся круге своих героев, которые вдруг да открылись ему здесь и не людьми вовсе, а всё теми же гоголевскими духами злобной бессмыслицы. Бред, болезненный бред: «Сегодня обедал с редактором «Сибирского вестника» Картамышевым. Местный Ноздрёв, широкая натура... Пропил 6 рублёв. <...> Стоп! Докладывают, что меня желает видеть помощник полицмейстера. Что такое?!? <...> Тревога напрасная. Полицейский оказывается любителем литературы и даже писателем; пришёл ко мне на поклонение. Поехал домой за своей драмой и, кажется, хочет угостить меня ею... Вернулся полицейский. Он драмы не читал, хотя и привёз её, но угостил рассказом. Недурно, но только слишком местно. Показывал мне слиток золота. Попросил водки. Не помню ни одного сибирского интеллигента, который, придя ко мне, не попросил бы водки».

Не стоило в те дни никому искать внимания и понимания Антона Павловича! Не нужно было даже подходить к Чехову, ибо тем холодным маем, там, в Томске, в нём судорожно, страшно, зло умирал Антоша Чехонте. Антоша умирал и вытекал из Чехова не

один, а целым легионом: Акакий Тарантулов и Макар Балдастов, Брат моего брата и Прозаический поэт, Врач без пациентов и Человек без селезёнки, полковник Кочкарёв, Вспыльчивый человек, Гайка № 6, Лазрт, Пурселепетанов, Шиллер Шекспирович Гёте, Архип Индейкин и многие-многие иные... Тогда, в Томске, из великого русского гуманиста, всемирного сострадателя заблудших, исходил легион самоуверенно-безгрешных судей над глупостью людишек-обывателей, легион безответно смелых под ироничными псевдонимами прокуроров-обвинителей мещанских пороков и праведно-безжалостных палачей социальных дефектов. Как же прелестно и легко было высмеивать-клеймить им толстых и тонких, унтеров и студентов, мещан, крестьян и даже самих генералов под одобрительное улюлюканье «губернских секретарей», «коллежских регистраторов» и прочей «не имеющих чина» литературной черни с последних страниц бульварных изданий. А теперь...

А теперь от всего того легиона осталась только желчь. Её-то Чехов и выплеснул на несчастных томичей, искавших внимания известного писателя, который «предпринимает путешествие по Сибири с целью изучения быта каторжников». Увы, именно в тот момент у известного писателя не оказалось сил им сочувствовать, хотя и надо было бы. Надо было бы... Это постыдное бессилие сердца умножало боль: «Я не люблю, когда интеллигентный ссыльный стоит у окна и молча глядит на крышу соседнего дома. О чём он думает в это время? Не люблю, когда он разговаривает со мною о пустяках и при этом смотрит мне в лицо с таким выражением, как будто хочет сказать: "Ты вернёшься домой, а я нет". Не люблю потому, что в это время мне бесконечно жаль его». Жалость без любви – унижение. А ведь Чехов ехал-то ссыльных любить...

Томск для Чехова так и зарубцуется неприятным напоминанием о его сломе, о том, чего он станет всё более стыдиться, отрицая авторство многих фельетонов и заметок, отказываясь от псевдонимов и бывших публикаций.

Как учит психология, за пережитым катарсисом началось медленное, медленное выздоровление. День за днём, утро за утром просыпавшийся молодой человек ощущал, что в нём «течёт уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...». День за днём, утро за утром в пути по Сибири.

Читая записи, замечаешь, как меняется, светлеет Чехов, и видишь, что настроение писателя меняется вне зависимости от внешних впечатлений. Перед ним всё тот же Сибирский тракт: от Томи до Енисея, от Красноярска до Иркутска, под звон валдайского бубенчика и посвист в телеграфных проводах, – всё те же испытания хлябями и колдобинами. И Забайкальские степи не намного веселее Кулундийских. Так что даже смена твёрдого чемодана на мягкий, на котором теперь можно было лежать на дне коляски, не причина для смены мировосприятия.

«От Томка до Красноярска 500 вёрст, невылазная грязь: моя повозка и я взяли в грязи, как мухи в густом варенье; сколько раз я ломал повозку... сколько вёрст прошёл пешком, сколько клякс было на моей физиономии и на платье! Я не ехал, а полоскался в грязи. Зато и ругался же я! Мозг мой не мыслил, а только ругался. Замучился до изнеможения и был очень рад, попав на Красноярскую почтовую станцию».

«От Красноярска до Иркутска 1566 вёрст, жара, дым от лесных пожаров и пыль; поглядишь на себя в зеркало и кажется, что загримировался. Когда по приезде в Иркутск я мылся в бане, то с головы моей текла мыльная пена не белая, а пепельно-гнедого цвета, точно я лошадь мыл».

И меж этих, уже проходных, жалоб на физические страдания, как-то и не вдруг, как-то давно ожидаемое: «Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей – могучий неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовётся песнью; яркие золотые надежды сменились у него немочью, которую принято

называть пессимизмом; на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась... На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!»

«Стоном»-то начинал Тракт сам Чехов, а вот и запел, да не песню, а сразу гимн. И запел гимн посредине неоглядной Осьмой Государевой дороги тот же самый человек, что только что «не ехал, а полоскался в грязи». И ругался! – «сколько раз я ломал повозку... сколько вёрст прошёл пешком, сколько клякс было на моей физиономии и на платье!» И, вот, надо же! – «Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные».

Да что поменялось-то? Природа? Так виданы были куда какие пышные Кавказ и Украина, и сам же признавался – «В России все города одинаковы. Екатеринбург такой же точно, как Пермь или Тула. Похож и на Сумы, и на Гадяч». (Чеховым, 29 апреля 1890 г. Екатеринбург).

Евангелие от Матфея (6:22-23): «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?»... «Свет, который в тебе, тьма...» – вот эта тьма презрения: «Не люблю потому, что в это время мне бесконечно жаль его».

Так после крайне болезненного осознания своей неспособности к слияниям «братским общением людей, видящих зло, с людьми, не видящими его потому, что они находятся в нём»; после уничижительного признания самому себе в своей неспособности любить «интеллигентных "несчастных"»; после пережитого катарсического потрясения с обрушением разом множества фальшивых стереотипов и ложных представлений о себе и окружающем, в писателе – просветлением чувств и расширением сознания – открывалось, объявлялось внутреннее пространство. Пространство с чистым «оком», через которое это освобождённое пространство наполнялось светлой мудростью Божьего мира со смиренным приятием жизни. Да «...это не была победная вера, которая видит в едва зарождающихся ростках грядущий расцвет и торжествующе приветствует его, это вера тоскующая, рвущаяся и беспокойная, но, однако, по-своему крепкая и незыблемая».

Именно после томского желчного «срыва» Чехов обретает столь желанные возмужалость и чувство личной свободы. Обретает не разом, постепенно, что прослеживается и по письмам, и по произведениям. Так что специалистам-чеховедам открыто урожайное поле для работы: в Томске отгадка тем изменениям в писателе, что столь безуспешно искали в Сахалине.

«От Томска же начинаются тайга и холмы; сохнет почва здесь нескоро, выбирать окольный путь не из чего, поневоле приходится ехать по тракту. И потому-то только после Томска проезжающие начинают браниться и усердно сотрудничать в жалобных книгах. Господа чиновники аккуратно прочитывают их жалобы и на каждой пишут: "Оставить без последствий"».

6 июня (25 мая по ст. ст.) купленная в Томске за 130 рублей собственная Чеховская (да с откидным верхом!) коляска втащилась-вползла в Мариинск.

8 июня (27 мая по ст. ст.) – Ачинск. Впереди таилась какая-то страшная «Козулька», которой ямщики пугали ещё в Томске. Это оказался отрезок дороги в 22 версты, на котором почтовые телеги «просиживали» от 10 до 20 часов. Но! «Светильник для тела

есть око. И так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло», и после Томска всё казалось не столь трагичным: «...мы на страшной Козульке. Дорога тут в самом деле отвратительна, но я не нахожу, чтобы она была хуже, чем, например, около Мариинска или той же Чернореченской». А дальше – больше!

9 июня (28 мая по ст. ст.) – Красноярск.

Русское название наследное переводное: по арински и качински «Кызыл-яр-Тур» – «Город красного берега». Это один из «старших» городов Сибири: оборонный от кыргызских налётчиков острог Красный Яр основан тобольскими казаками «на тюлькиной землице» в 1628 г. по указу Царя Михаила Фёдоровича Романова. Первым гербом и печатью городка стала личная печать Иоанна Васильевича Грозного – инрог-единорог. Да ещё вошла в историю своими «штатостями» местная казачья вольница, то и дело свергавшая присылаемых Москвой воевод. А от начала и до 1860-х гг. Красноярск побывал столицей нашей отечественной «золотой лихорадки», со всеми её прелестями: коррупцией, организованной преступностью, развратом с карточными и опийными притонами, публичными домами, босячеством. Но! –

«Последние три станции великолепны; когда подъезжаешь к Красноярску, то кажется, что спускаешься в иной мир. Из леса выезжаешь на равнину, которая очень похожа на нашу донецкую степь, только здесь горные кряжи грандиознее. Солнце блестит во всю ивановскую и берёзы распустились, хотя за три станции назад на берёзах не потрескались даже ещё почки. Слава богу, въехал-таки я наконец в лето, где нет ни ветра, ни холодного дождя. Красноярск красивый интеллигентный город; в сравнении перед ним *Томск свинья в ермолке и моветон*. Улицы чистые, мощёные, дома каменные, большие, церкви изящные». Положим, про каменные дома, церкви и интеллигентность Красноярска того времени в сравнении с университетским и трамвайным Томском – явный перебор, тут даже электричества ещё не было. Ну да, Антон Павлович, с вами так и должно было приключиться: «Я согласился бы жить в Красноярске. Не понимаю, почему здесь излюбленное место для ссылки».

А нам-то как раз всё более-менее понятно, ведь Томск – свидетель вашего душевного кризиса – теперь уже далеко-далеко, за полтысячи вёрст, и это там, у Томска, сибирские ямщики и перевозчики «ругаются нестерпимо», а здесь-то всё красиво и интеллигентно. Всё так. Ведь этот иной мир был уже в вас, дорогой Антон Павлович.

10 июня (29 мая по ст. ст.) – Канск.

Обычный притрактный уездный городок, родина самого удачливого нашего золотоискателя, открывшего более ста месторождений, миллионщика Гаврилы Машарова по кличке «таёжный Наполеон». Только один его прииск «Гавриловский» (перепроданный купцу Рязанову) выдал с 1844 по 1864 год аж 770 пудов золота. Гаврила даже заказал себе эксклюзивную золотую, в 20 фунтов, медаль на золотой же цепи, с поясным портретом и надписью по кругу «Гаврила Машаров – император всей тайги». И, понятно, что сей широкий русский человек спустил все свои богатства на самые безумные проекты промышленного и художественного преображения отечества, от которых остались лишь анекдоты да гниющий деревянный замок.

Вроде и лето наступило, холод резко сменила жара, но дорога не улучшалась, и безрессорная коляска теперь прыгала по комьям-камням, вытрясая желудок и мысли. А ещё добавилась пыль, горькая, всюду проникающая пыль.... Зато вплотную подступила и окружила Тракт тайга. Но Чехов был бы не Чехов, если бы довольно скоро не пригасил романтические восторги, которым, было, поддавался на Енисее, нарочито позёвывая: мол, деревья-то в тайге «нисколько не крупнее тех, которые растут в московских Сокольниках».

А всё-таки Сибирь брала своё: «Сила и очарование тайги не в деревьях-гигантах и не в гробовой тишине, а в том, что разве одни только перелётные птицы знают, где она кончается. В первые сутки не обращаешь на неё внимания; во вторые и в третьи

удивляешься, а в четвертые и пятые переживаешь такое настроение, как будто никогда не выберешься из этого зелёного чудовища».

16 июня (3 июня по ст. ст.) – Иркутск.

Стараниями боярского сына Якова Похабова в 1661 г. острог был возведён на впадении в Ангару речки Иркут, от которой и получил название.

К концу XIX в. губернский и епархиальный Иркутск становится в бескрайнем и ныне регионе крупнейшим торговым узлом и промышленным центром, со всеми атрибутами колониальной культуры: театром, музеем, библиотеками, газетами, духовной семинарией, мужскими и женскими гимназиями, школами и реальными училищами, больницами и богадельнями, Восточно-Сибирским банком, Восточно-Сибирским отделом Русского географического общества и даже Девичьим институтом.

В Иркутске Антон Павлович недельку отдохнул, продав с хорошей прибылью томскую коляску, за которой полмесяца он то шёл-чавкал по хлябям, то трясся по колдобинам на широком её дне, засыпая под однообразное звяканье дар-валдая. Отдыхал Чехов весьма расчётливо: представленный местной интеллигенцией газетой «Восточное обозрение» «молодой русский беллетрист, известный городской публике как автор остроумных водевилей и драмы «Иванов», дававшейся в минувший сезон на сцене городского театра» (постановка, кстати, в отличии от Санкт-Петербурга, здесь с треском провалилась) поселился со своими попутчиками в недорогой гостинице «Амурское подворье», посещал сукачёвские народные бани, гулял в бесплатном Интендантском саду «с музыкой», а заглянув в кондитерскую и на рынок, сердито отметил, как там «всё адски дорого».

Сменил экипировку по причине «вдруг» наступившей резко-континентальной жары. Написал и отослал письма.

И, внимание! – чураясь, всеми силами отрицаясь сентиментальности, с нарочитой своей «докторской» грубостью Чехов ругает «болваном» Левитана, отказавшегося от поездки с ним, и бросает брату «Тебе бы надо в Сибирь!»: «Сибирь есть страна холодная и длинная. Еду, еду и конца не видать. Интересного и нового вижу мало, зато чувствую и переживаю много... Такие ощущения, которые в Москве и за миллион не испытываешь. Тебе бы надо в Сибирь!» (Ал. П. Чехову, 18 июня, Иркутск).

Здесь, почти в 5000 вёрст от Москвы, Чехов наконец-то осознает долготу проделанного пути. Он соскучился по семье и друзьям, даже по Лике Мизиновой, о чем свидетельствуют случайные оговорки в письмах, но это явно закрепление той темы, что «...согласился бы жить в Красноярске». Да только тоска эта несколько странная: это не стремление поскорей вернуться в столицу, к цивилизации и уюту, а... желание поделиться с близкими тем, чего «в Москве и за миллион не испытываешь».

Сибирь всё более входила в Чехова, всё ещё незаметно для самого Антона Павловича, меняя его некогда слишком поспешно всё и всех оценивающее зрение: «Вот около сосен плетётся беглый с котомкой и с котелком на спине. Какими маленькими, ничтожными представляются в сравнении с громадною тайгой его злодейства, страдания и он сам! Пропадёт он здесь в тайге, и ничего в этом не будет ни мудрёного, ни ужасного, как в гибели комара. Пока нет густого населения, сильна и непобедима тайга, и фраза "Человек есть царь природы" нигде не звучит так робко и фальшиво, как здесь».

Сибирские просторы умаляют, давят и ослабляют человека! Здесь, в иркутской тайге, смерть показалась настолько реально близкой, что обнажилась бессмысленность собирания богатств на земле, «где тля тлит и тать подкапывает». Здесь, в тайге, суетной тщетой открылись честолюбие и алчность, похоть и памятозлобие, мелочные помышления и высокоумдрствование. Да, «"Человек есть царь природы" нигде не звучит так робко и фальшиво, как здесь».

Но, умаляясь на фоне богатырской природы, человек здесь всё яснее проявлялся своей сердцевиной, сутью, самым существенным – духом.

Согласно Василию Осиповичу Ключевскому, характер этноса формирует ландшафт, а мировоззрение нации – ареал её проживания. И потому русский народ, взращённый свободами раздолий меж Днестром и Волгой, меж Западной Двиной и Северной, повзрослев и умножась, уже не мог изменить себя, дабы сжиматься и сварливо тесниться, подобно романцам, норманцам, готам или галлам, ради тепла и сытости. Сформированная густою сетью петлистых рек, связующих моря Белое и Чёрное, выпестованная раздольными дубравами и дремучими ельниками, выученная кормиться от любой елани и раскорчёванного выжига, отстаивая урожай и детей от беспрестанных набегов степняков и варягов, Русь не могла уже стать домоседкой. Даже покрывшись городцами и уездами, долго не строила она, кроме храмов, навечного жилья, характером своим всегда готовая в путь-дорогу. По добру ли, по принуждению. И оттого век избы, срубленной под молодую семью, век человеческий – выросли дети, разлетелись вить свои гнёзда, и прогнили углы, завалилась крыша. С того же истинно русские люди до сих пор пренебрегают и заборами.

Россию можно увидеть и ощутить только в движении. Лёгкая смена холмов и луговин, близкие и дальние берёзовые колки, рыжезвонкие сосняки, безмолвные дубравы, грачи на пахотах и спящие солнцем плёсы – Россия дышит, Россия живёт, и растёт-ширится нашим и своим движением. И широта её – широта наша. Нет, мы ни в коей мере не кочевники, хлеб – наше жито, наша жизнь, но национальный характер русских, веками вырабатываемый суровым климатом и скудодольной землёй, то есть, необходимостью перемены мест именно для своего хлеборобства, для лесных и водных подспорных сборов, наделён лёгкостью на подъём.

Только как ни велика Россия в сравнении с европейскими соседями, однако лишь обживая Сибирь, русский человек наконец-то насытил свою жажду просторов, наконец-то получил искомую ширь для размаха в своих мечтаниях и планах. Здесь, где «редкая птица долетит до середины» Обской губы, а от Туруханска «за три года не доскачешь ни до какого государства», именно здесь русский характер раскрылся во всей своей полноте. Сибиряк – это русский человек в своём совершенстве, русский человек в максимально возможном своём воплощении.

«Сибирь есть страна холодная и длинная. Еду, еду и конца не видать. Интересного и нового вижу мало, зато чувствую и переживаю много... Такие ощущения, которые в Москве и за миллион не испытаешь». Антон Павлович, дорогой наш Антон Павлович! Ведь, правда же, смешно: «Мы не знаем, в чьей власти жизнь клеточки, но мы знаем, что наша жизнь в нашей власти. Мы можем проявить свет, который есть в нас, или загасить его»? «В нашей власти!» «Мы можем!» И далее по тексту: «...давайте мы по-дурачки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом – не поднимем ли? Дружней, братцы, разом!»... И «будут спасены ослабевшие пьяницы, непопавшиеся воры, проститутки...».

Графу по-мужицки... Фальшиво-с как-то. А «по-дурачки» – даже и пошленько.

23 июня (12 июня по ст. ст.) – Листвянишная (Листвянка), берег Байкала.

«Вчера утром выехали из этой станции и к полудню прибыли к Байкалу. Пошли на пристань и на наш вопрос получили ответ, что пароход пойдёт не раньше пятницы 15-го июня. Значит, до пятницы нужно сидеть на берегу, глядеть на воду и ждать».

Славное море – с вященный Байкал,

Славный корабль – омулёвая бочка...

«Ламу»-«Байхе»-«Байгаал-далай»-«Святое море»... Сверкающий синевой плавный выгиб самого глубокого озера планеты в узком и протяженном тектоническом провале, образованном взаимодействием Евразийской плиты и Индостана, окружённый горами и сопками, в который впадает 336 рек и ручьёв и вытекает только одна красавица Ангара... Флора и фауна, многими видами не имеющие аналогов... За тридцать миллионов лет Байкал повидал и пережил столь многое, что эти его знания вызывают мистический

трепет у каждого приближающегося к берегу этого гигантского каменного ковша с глубинами в полтора километра, до краёв наполненного кристально прозрачной водой. Предки тунгусов, предки тюрков, хунны, уйгуры и буряты, как и русские казаки, под предводительством атамана Курбата Иванова «нашедшие море» в 1643 г., все переживали этот трепет, и для всех Байкал становился «священным». Для всех и всегда.

25 июня (14 июня по ст. ст.) Чехов переплывает Байкал и прибывает в Ключево.

«Светильник для тела есть око». И совершенно объяснимо: «Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем. Вода прозрачна необыкновенно, так что видно сквозь неё, как сквозь воздух; цвет у неё нежно-бирюзовый, приятный для глаза. Берега гористые, покрытые лесами; кругом дичь непроглядная, беспросветная. Изобилие медведей, соболей, диких коз и всякой дикой всячины, которая занимается тем, что живёт в тайге и закусывает друг другом». И далее вырывается, вылетает – вот оно, бесконтрольно свободное, искреннее: «Забайкалье великолепно. Это смесь Швейцарии, Дона и Финляндии!» (Н.А. Лейкину. 20 июня, Жилка под Горбицей).

С 26 по 29 июня (с 14 по 17 июня по ст. ст.) Чехов проезжает закопчённый бегучими лесными пожарами уездный Верхне-Удинск (Улан-Уде) и прибывает в Читу, центр иррегулярного Забайкальского казачьего войска, собранного из донских казаков с добавлением эвенкийских и бурятских военных формирований для разведки, обустройства и охраны китайской границы и внутренней службы.

1 июля (19 июня по ст. ст.) – ночёвка в гостинце «Даурия» рудного и торгового городка Нерчинска, 2 июля (20 июня по ст. ст.) в Сретенске Чехов поднимается на борт речного пароходика «Байкал».

Здравствуй, цивилизация! Узкая, низкая каютка, но с застеленной кроватью, со столиком и умывальником, да ещё и ресторан с чистыми салфетками и блюдами на выбор! «Путешествие моё на лошадях кончилось; большие сапоги заключены под спуд, рожа вымыта, бельё переменено, и московский жулик преобразился в барина... Нахожусь под впечатлением Забайкалья, которое я проехал: превосходный край. Вообще говоря, от Байкала начинается сибирская поэзия, до Байкала же была проза». (А.Н. Плещееву, 20 июня, Амур, пароход «Ермак»).

3 июля (21 июня по ст. ст.) – деревня Горбича. Здесь, на стрелке Шилки и Аргуни, «Ермак» налетел на камень и получил пробоину. Ремонтируясь, просидели на мели двое суток.

5 июля (23 июня по ст. ст.) – станица Покровская.

«Берега до такой степени дики, оригинальны и роскошны, что хочется навеки остаться тут жить...». Хм, даже не привычные уже «прожить два года».

6 июля (24 июня по ст. ст.) – Рейновск на Амуре.

Скачки бурятских коневодов: «Смешной народ. Кони у них аспиды».

8 июля (26 июня по ст. ст.) – Благовещенск, с пересадкой на пароход «Муравьёв».

9 июля (27 июня по ст. ст.) – «27-го я гулял по китайскому городу Айгуну. Мало-помалу вступаю я в фантастический мир».

10 июля (28 июня по ст. ст.) – посёлок Радде.

«В каюте летают метеоры – это светящиеся жучки, похожие на электрические искры. Днём через Амур переплывают дикие козы. Мухи тут громадные». Экзотические виды берегов, экзотические типы пассажиров: «А какой либерализм! Ах, какой либерализм! На пароходе воздух накаляется докрасна от разговоров. Здесь не боятся говорить громко... Доносы не приняты. Это объясняется отчасти и полным равнодушием ко всему, что творится в России. Каждый говорит: какое мне дело?»

12 июля (30 июня по ст. ст.) – Хабаровка (Хабаровск).

«Посетил Военное собрание, где читал газеты»: как, что там? что в Москве, в Петербурге, на Украине?.. Литературные новости – Толстой, Григорович, Лесков, что новые имена?.. А Балканы?... Зажатый в тесное пароходное общество, не мог не поворчать

на то, что здесь, на Дальнем Востоке, всё как-то не так. А, может, на то, что окружающим совершенно был неинтересен «молодой русский беллетрист»? –

«Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе; не говоря уже об оригинальной, не русской природе, мне всё время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны, наша история скучна и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами». Но ворчал Антон Павлович уже без осуждения, без суждения – хороший или плохой, правильный или неправильный, просто констатируя их инакость: «И нравственность здесь какая-то особенная, не наша. ... с одной стороны, отсутствие сословных предрассудков – здесь и с ссыльным держат себя, как с ровней, а с другой – не грех подстрелить в лесу китайца-бродягу, как собаку».

Наблюдаемая двойственность, тройственность, и – до невозможности высчитать, человеческая сложность – да это же отрыв, да отрыв принципиальный, необратимый! – отрыв от исторгнутых, вываленных где-то под Томском, некогда столь легко, беглым пером Человека без селезёнки или Доктора без пациентов очерченных «футляров» и «хамелеонов»! Смотрите, Антон Павлович, жадно смотрите и запоминайте: в здешнем-то широком, сибирско-просторном человеке столь многое помещается! Смотрите и запоминайте! Ведь именно за этим зрением вы покинули уютную московскую квартиру, привычный круг общения, и под недоумение родных и близких прошли-протряслись тысячи, то пронзительно ветреных и беспросветно дождливых, то жарко-пыльных, тяжелейших вёрст Сибирского тракта, ради этого вы переплывали величайшие реки Азии, голодали, терпели грязь, страдали от клопов и тесной обуви. За этим вот виденьем человеческой нутряной сложности в её брожении и бурлении, за виденьем бескрайности тайной человеческой вселенной в трагедийном величии её бесцельности... за этим вы и очутились здесь.

Смотрите, просто смотрите, ведь «кроме изобилия материала и таланта, нужно ещё кое-что, не менее важное. Нужна возмужалость – это раз; во-вторых, необходимо чувство личной свободы...».

Смотрите молча! Ответ дадите позже, когда выведете на сцену путанно-многомерных Тригорина и Раневскую, Астрова и Лопухина. Тогда выйдут они уже с этим вашим, Антон Павлович, опытным прозреньем их внутреннего разлада, душевной смуты, с виденьем, обрётённым вами здесь, в Сибири, позволяющем вам описывать их, – как и Рагина, и Коврина, и Лаптева, и Полознева, – в смертной тоске по недостижимой для русского человека вне веры, вне Христа и православия, цельности, волевой и сердечной собранности, соборности. Ваша возмужалость и внутренняя свобода дадут вам силы и право описывать боль мятущегося от внутреннего хаоса обезбоженного, обесмысленного человека непревзойдённо тонко и до жестокости правдиво. И милосердно. Искренне сострадательно.

«Кроме изобилия материала и таланта, нужно ещё кое-что, не менее важное». Так внимайте, смотрите и запоминайте, а судить будут читатели и зрители, выводы сделают критики, литературоведы, исследователи вашего творчества – доктора искусствоведения, культурологии, философии и богословия.

Всё объяснится позже, да в том же письме к Ф.Д. Батюшкову от 15 декабря 1897 г. вы сами и подскажите: «Я умею писать только по воспоминаниям, и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет, и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично». И потому пока наблюдение без выводов, просто запоминание, впитывание наново раскрытыми глазами: «Я в Амур влюблён; охотно бы *пожил на нём года два* (ах, рефрен, рефрен! – *авт.*). И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России... По Амуру живёт очень насмешливый народ; все смеются, что Россия хлопчет о

Болгарии, которая гроша медного не стоит, и совсем забыла об Амуре. Нерасчётливо и неумно». (А.С. Суворину, 27 июня, Благовещенск).

15 июля (3 июля по ст. ст.) – реденько утыканный гиляцкими лодчонками и китайскими джонками пустынный, замусоренный гниющими водорослями и пеной берег Николаевска-на-Амуре (Комсомольска-на-Амуре): «Почти половина домов покинута своими хозяевами, полуразрушена, и тёмные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа. Обыватели ведут сонную, пьяную жизнь и вообще живут впроголодь, чем Бог послал». Гостиницы в городишке не оказалось, пришлось возвращаться, ночевать в каюте «Муравьева».

И вот 20 июля (8 июля по ст. ст.) уже морской высокобортный пароход «Байкал», пронзительно просвистев паровой сиреной и, по флотской традиции, выпустив особый сигнальный ком дыма, закрутил, взбуробил хлопотливыми лопастями зеленовато-серую воду и с широким разворотом, хлюпая встречной зыбью, направился в Амурский лиман. Громко перекликаясь, огромные белые чайки зависали в надежде на угощение над махающими им платочками дамами. Чуть в сторонке от собравшихся на баке верхней палубы пассажиров первого класса одиноко чернела фигура Антона Павловича Чехова.

Где-то там, под встречно утренним солнцем, ждал Сахалин.